

◆ ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА ◆



АЛЕКСЕЙ  
ЧЕРКАСОВ  
ПОЛИНА  
МОСКВИТИНА



Черный тополь



МОСКВА

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Ч-48

Оформление серии *Н. Ярусовой*

**Черкасов, Алексей Тимофеевич.**  
Ч-48      **Черный тополь / Алексей Черкасов, Полина Москвитина.** — Москва : Эксмо, 2025. — 736 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-201280-8

Историческая трилогия красноярского писателя Алексея Черкасова и Полины Москвитиной «Сказания о людях тайги» повествует о судьбах жителей Сибирского края.

В заключительной третьей части «Черный тополь» рассказывается о сибирской деревне двадцатых годов, о периоде Великой Отечественной войны и первых послевоенных годах.

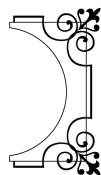
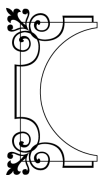
УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-201280-8

© Черкасов А.Т., Москвитина П.Д.,  
наследники, 2025

© Оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2025



## ЗАВЯЗЬ ПЕРВАЯ

### I

**М**ного повидал на своем веку старый тополь!.. Его вильчатая вершина видна издали над домом Боровиковых, хотя дом — крестовый, рубленный в поморскую лапу из толстущих бревен, на фундаменте из лиственниц в обхват, более ста лет дубленых солнцем, — стоял на горе, а тополь тянулся снизу, из мрака и сырости поймы Малтата.

Давно еще грозовой удар расщепил макушку тополя; но дерево не погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного два ствола.

Разлапистые сучья, как старческие крючковатые пальцы, протянулись до конька тесовой крыши, будто собирались схватить дом в охапку. Летом на сучьях густо вились веревчатые побеги хмеля. Тополь был величественный и огромный, прозванный старообрядцами Святым деревом. С давних пор под ним радели крепчайшие раскольники тополевого толка, выходцы из Поморья, крестились двумя перстами, предавая анафеме всех царей, а заодно с ними православных никониан за их еретичное троеперстие-кукиш. Невесты топольников вязали себе нарядные венки из гибких веток тополя, потом принимали крещение в сту-

деных водах Малтата и Амыла, очищаясь от мирской скверны.

На всякую всячину насмотрелся тополь за длинный век свой: на радостных невест и на битых баб, на скорбных вдов и на сторожких, прячущихся под его ночной черную неумных жен, лобызающих немужние сладостные уста.

Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние вьюги, покрывая коркою льда хрупкие побеги молоди на заматерелых сучьях. И тогда он, весь седой от инея, постукивая ветками, как костями, стоял притихший, насквозь прохватываемый лютым хиузом. И редко кто из людей задерживал на нем взгляд, будто его и на земле не было. Разве только вороны, перелетая из деревни в пойму, отдыхали на его двуглавой вершине, чернея комьями.

Но когда приходила весна и старик, оживая, распускал коричневые соски клейких почек, первым встречая южную теплинку, и корни его, проникшие в глубь земли, несли в мощный ствол живительные соки, — он как-то сразу весь наряжался в пахучую зелень. И — шумел, шумел! Тихо, умиротворенно, этаким старческим мудрым гудом. Тогда его видели все, и он нужен был всем: и мужикам, что в знойные дни сиживали под его тенью, перетирая в мозолистых ладонях трудное житье-бытье, и случайным путникам, и ребятишкам. Всех он встречал прохлагою и ласковым трепетом листвы. К нему летели пчелы, набирая на лапки тягучую смолку, чтобы потом залатать прорехи в своих ульях, мохнатые жирные шмели отсиживались в зной в его листве, болтливые сороки устраивали на нем свои немудрящие гнезда.

Сколько же ветров и бурь пронеслось с той поры, когда первый хозяин еще не достроенного дома — Ла-

ривон Филаретыч Боровиков с внуками и сыновьями затравил собаками беглого варнака и, как потом узнали, родного брата, Мокея Филаретыча, из чьей кровушки каторжанской возрос на диво всем могучий тополь!..

Шли годы и годы...

Менялись поколения, времена и нравы, а старый тополь все так же шумел под окнами дома Боровиковых.

Костляво-черный в зимнюю пору, белый от куржака в морозы, огромный и величественный в зеленой шубе, возвышался он над крестовой крышей дома, как загадочный свидетель минувших времен, чтобы потом, на Страшном суде, дать показания о всех бедах и преступлениях, свершенных людьми на его веку.

## II

Нечто загадочное и тревожное мерещилось малому Демке в старом тополе. То Святое древо как-то странно посвистывало, будто созывало праведников на моленье, то оно лопотало, лопотало ночи напролет, словно что-то рассказывало чернолесью на своем тополином языке, то в лютую стужу скребло по крыше голыми сучьями, ровно в тепло просилось, чтоб погреть задубевшие старые кости, то исходило натужным гудом перед непогодьем; и, когда налетала буря с Амыла, тяжело стонало. И чудилось Демке, что Святой тополь отбивается от несметной силы нечистых, и боялся, как бы он, не выдержав битвы, не рухнул на крышу дома. «Как бабахнется, так всех придавит. И меня, и мамку с Фроськой». Тятюку — рыжую бородищу не жалел — пушай давит. Все едино Демке добра не ждать от тятки.

Со всем могла смириться Меланья: и со строгостью Филимона к малому Демке и к самой себе, и с тем, что жить стали в моленной, а вот нутро пересилить к квартирантке-ведьме, Евдокии Елизаровне, которая поселилась в горенке, никак не могла.

— Нишкни! — пригрозил Филимон. — Не твое ума дело, как и што свершается в круговращенье людском. На земле проживают люди разных верований, и ничаво — ладят. Али я не гоняю ямщину? Пушай хучь сатано подрядит, Господи прости, моментом в ад доставлю. Токо бы на возвратную дорогу ворота открыли.

— Сгинем мы, Филимон, от этакого паскудства!

— Молчай, грю, ежели ум у те с коготь иль того меньше. Али не слышала: отторг я тополевую веру — белоцерковную самую праведную возвещать буду.

— Осподи! В церковь к нечистым метнулся!

— Не в церковь, а старая вера есть такая под прозванием Белая Церковь, самая праведная. Согласное такое единоверцев, и двумя перстами хрестятся, как мы. А по белоцерковной вере, как вот у Харитиньи, — вдруг проговорился Филимон и тут же смолк: до того неожиданно вылетело словечко.

— У какой Харитиньи?

— У праведницы, следственно, — сопел в бороду Филя.

Меланья припомнила:

— Осподи! Ты еще когда во сне Харитиньюшку нацеловывал да шанежкой называл. Знать, у Харитиньи скрывался все время, а мы тут слезами исходили, казни претерпели!

— Не болтай лишку, грю! — окрысился хозяин. — Али у самой хвост не припачкан? От кого выродок в доме моем хлеб жрет?

— Хлеб-то и мой, поди. Я ведь содержала дом и хозяйство, покель ты с Харитиньей гдей-то проживал.

Филимон перед малой силой скор на руку. Бах — и врезал по шее Меланье, чтоб язык прикусила.

Меланья после такого разговора с мужем совсем сникла. Мало того что Филимон метнулся в какую-то чужацкую веру, так еще и Харитиньюшку завел себе — где только, узнать бы! Одна надежда у Меланьи — Демка. Вот вырастет, подготовится в духовники тайно от Филимона, а там и сама Меланья ко святым мученицам приобщится, как не поправшая святых заповедей Прокопия Веденеевича, с кем только и отведала малую толику бабьего счастья.

### III

Осенней неисходной желчью налились листья старого тополя. Холодом тянуло с Татар-горы. Птицы сбивались в стаи. Откуда-то из неведомых углов, одна за другой, тянулись длиннущие журавлиные ленты и косяки гусей — летят, летят, и Демка провожает их долгим взглядом — самому бы взлететь за птицами на небо!..

В какой из дней осени Демка почал пятый год своей жизни, он, конечно, не ведал. Он любил играть под тополем с Манькой и светлоголовой Фроськой. Хоть на два года был младше Маньки, а в играх и забавах верховодил — «головастый выродок растет», — отмечал про себя Филимон Прокопьевич.

Под тополем устительно от опавших листьев. Манька выкопала ямку в отвесном яру и пекла из глины с песком пирожки без огня и дров; малая Фроська — по третьему годiku — собирала листья в кучу: горку строила. Демка наломал гибких прутьев тальника, натыкал

их вокруг тополя — как будто это единоверцы, и позвал к себе Маньку и Фроську на моление.

Маньке понравилась новая забава. На колени стали, молятся, а Демка-духовник, спиной к тополю, осеняет единоверцев самодельным крестом из связанных прутьев, бормочет нечто про Суса Христа, про святых угодников, и Фроська, еще не умея креститься, машет ручонкой возле своего пухлого личика и вслед за Манькой и Демкой неловко отбивает поклоны. В два-то годика Демка как крестился! Сам Прокопий Веденеевич хвастался, а у Фроськи не получается — ображенья мало.

— Мань, чо она язык выпехала! — кричит Демка. — Сусе Христе, спаси нас от наважденья, от нечистого, чо не молитесь! — бьет Демка самодельным крестом по гибким прутьям. — А ты, рыжий, из веры в веру прыгаешь! У, анчихрист! Мякинная утроба! Как вот поддам крестом! Спаси нас Боже!

— Дем, а ты хто?

— Духовник.

— Ой, ой! — тарашится черными глазенками семилетняя Манька и быстро крестится. — Как был дедка, ага?

— Сусе Христе, помилуй нас! — дуется Демка. — Сейчас рыжего в геенну огненну пихну. Как поддам!

И Демка поддал одному из прутьев — в сторону отлетел, в геенну, значит.

— Дем, а хто рыжий?

— Не знаешь?

— Тятка, ага?

— Не тятка он! Сатано, сатано! Рыжий сатано! — орет Демка.

А сам «сатано», только что приехав с пашни и не застав Меланью с ребятенками дома, выглянул в окно

моленной, распахнул створку и прослушал весь детский лепет новоявленного духовника в холщовых штанишках на лямке, босоногого, и увидел, как этот духовник бил самодельным крестом анчихриста рыжего, прыгающего из веры в веру, да еще назвал мякинной утробой. Такого поношения Филимон стерпеть не мог. Ему и в голову не пришло, что мальчонка бормочет не свои слова, а мамкины.

«Осподи! Выродок-то куды метит! — тарашился Филимон, готовый выпрыгнуть из окна — до того вскипела ярость. — Ужо в силе я покель. Покажу ужо окаянному!»

Манька с Фроськой все еще стояли на коленях возле тополя, когда подбежал тятка и схватил Демку за ворот рубашонки. Демка остолбенел от испуга, округлил глазенки на рыжую бородищу,

— Кого в геенну, гришь? Каку рыжу бороду?

А тут еще Манька брякнула:

— Это он про тебя, тятя, сатано, гриш, рыжий.

— Пшли домой, живо!

Манька подхватила Фроську и убежала.

Таская за собой Демку за ворот, Филимон собрал в пучок наломанные таловые прутья, спустил штанишки с него и голову зажал промежду толстых ног в бахилищах.

— Сатано, гришь? В геенну огненну, гришь? Вот тебе, проклятуший, геенна! В духовники метишь, окаянный? Вот тебе духовник, духовник, духовник! Чтоб не встал, не сел! Не встал, не сел!..

Демка визжал, хватался ручонками за продегтяренные голенища бахил, а таловые прутья, которые он сам же наломал и натыкал в землю возле тополя, собранные рыжим чудищем в пучок, будто насквозь прошибали Демкину кожу — дух занялся. Демка звал

мамку, но мамка была где-то на огороде, Демка захлебывался собственным криком, тело его дергалось, как у лягушки, и только старый тополь мирно пошумливал своей желтой шубой, роняя наземь широченные листья, и послеобеденное солнце все так же покойно цедило свои прохладные лучи сквозь толстые черные сучья.

Свистят прутья, кровь брызнула, а рука Филимона никак не может остановиться — злоба подхлестывает и разум затмился будто. Может, и не жить бы Демке на белом свете, если бы не раздаля голос:

— Доколе, Господи! Доколе!

Филимон оглянулся — перед ним бабка Ефимия вся в черном с палкой в руке.

— Эко! — шумно перевел дух Филя, отбросив прутья.

Бабка Ефимия ткнула его палкой в грудь:

— Боровиков?! Ай-я-яй! Под деревом казни казнь вершишь над ребенком? Али мало роду вашему убийства каторжанина? Али мало вам молитв на тополь, под которым убиенный лежит? И будет проклят ваш род, ежели не образумитесь и на жизнь по-людски не взглянете!

— Что несешь-то, старая! — огрызнулся Филя; Демка валялся между его ног, как промежду двух столобов — только вместо перекладки холщовая мотня висела над кудрявой головенкой.

— Изверг! Изверг! Людей позову сейчас. Людей! — наступала бабка Ефимия, смахивающая на черную птицу. Филимон пятился. Бабка Ефимия склонилась над ребенком — по голым ноженькам кровь бежит, от спины до ног все тело иссечено вдоль и поперек. Лежал лицом в землю, не кричал. Тело его подергивалось.

— Убийство вижу! Убийство!

— Окстись, окстись! — Филимон и сам перепугался: не пришиб ли насмерть выродка — беда будет!

— Смотри, смотри, Боровик-разбойник! На кровь смотри! Доколе сами себя изводить будете, Господи! Али крови возалкал? Людоедства возалкал? Али не из рода вашего изгой Филарет, яко змий терзавший сирых и бедных? Ларивона вижу! Ларивона!

Филимон топчется под тополем, бормочет нечто невнятное — из ума выжила старушонка! Но если бы он мог пораскинуть своим умом, то увидел бы, что бабка Ефимия — не просто престарелая старушонка, вся сжавшаяся в комочек, истоптавшая три бабьих века, — она, как и этот распахнувшийся вширь и ввысь тополь, была еще и живой свидетельницей времен и исчезнувших поколений людей.

Сохранив разум и память, пусть даже с провалами, она не в силах была уразуметь сути происходящего. В неведомом новом поколении видела нечто свое, одной ей доступное, а именно тех давнишних людей, кости которых истлели в земле; она их видела, помнила их дела, и каждый раз, когда свершалось насилие, припоминала именно то, что было ей известно, возмущалась в меру сил и разума и строго судила живых, новых и неведомых, мерою того суда, какой свершился на ее памяти над исчезнувшими поколениями. Явственно видела в рыжебородом чудище Ларивона Филаретыча, убийцу родного брата, в могилу которого вбит был тополевым кол; видела тупых и до одури жестоких апостолов Филаретовых, душителей кудрявого Веденейки, — да уже не Веденейка ли кудрявый на ее старческих руках сейчас?

— Веденейку вижу! Веденейку, Богородица пресвятая! Унесу сейчас. Унесу! Да пусть разверзнется земля под тобою, Ларивон, сын Филаретов!

— Чаво бормочешь-то, Господи прости!

— Не простит Господь, не простит! Убивства не прощаются! Земля, оскверненная кровью человеческой, кровью же и омывается!

Демка опамятовался — всхлипнул раз, другой; тело его конвульсивно передернулось. У Филимона отлегло от души — живой! «Экая у меня рука чижолая, Иисусе Христе!» А вот и Меланья бежит в подоткнутой юбке. Задержалась на миг, глядя на сына на руках старухи, кровь увидела на теле Демки и, коротко взвизгнув, как росомаха с дерева, кинулась на Филимона, вцепилась ему в бороду. Все это произошло так быстро, что Филимон не успел уклониться. Рвет, рвет бороду, восставшая рабица Господня.

— Окстись, окстись! — бормочет Филимон. — Опамятуйся! — А борода трещит, ажник слеза прошибла. Ударил Меланью в ухо — удержалась за бороду. На губах пена выступила, глаза дикие, распакнутые, лицо перекосилось. Филимон зажал ей ладонью рот и нос и тут же отдернул руку — мякоть ладони прокусила. И все это молча, будто Меланья лишилась языка. Такою рабицу Филимон впервые видел и не в малой мере трухнул. Если умом рехнулась — беды не оберешься. Ребенка изувечил, скажут, и бабу из ума вышиб. — Господи, Господи! Опамятуйся, грю!

А тут еще бабка Ефимия подкинула:

— А, разбойник! Каково? На всякого зверя — волчица сыщется.

Голос бабки Ефимии дошел до сознания Меланьи, и она вдруг обрела дар слова:

— Сатано ты, сатано треклятый! Ребенчишка мово в кровь избил, лихоимец!

Вырвав руки из лап Филимона, Меланья царапнула его по пунцовому лицу своими черноземными ногтями — кровцу добыла. Рубаху разорвала до пупа.

— Асмодей, асмодей! — кричит. — Топором зарублю! Грех на душу возьму — зааарууублюу!

— Экое! Экое! Ополоумела!

— Саатаааанооо!

Филимон оторвался-таки от взбешенной жены и прыгнул в сторону, за тополь, припустив по чернотелью — только сучья трещали под ногами.

Меланья запричитала:

— Иусе, за-ради каких мучений токо я на свет народилась! Али мыкаться мне до смертушки, аль бежать куды, Господи!

Черные пытливые глаза бабки Ефимии глядели на Меланью с великим сожалением и земным спокойствием. Сколько она, Ефимия Аввакумовна, повидала за свою жизнь слез рабиц Господних, немало выплакала своих, обретая понимание людей; на всякую всячину нагляделась, а все-таки одного не уяснила: с чего это люди изводят друг друга?

— Не реви, бойкая! — строго сказала бабка Ефимия. Демка жался к старушонке, перепуганный дракою матери с рыжим тятькой. — Ты чья будешь? Из Боровиковых? Или у Боровиковых?

— Про што вы?

— Из Боровиковых или у Боровиковых живешь?

— Дык у Боровиковых.

— Кажись, у тебя ребенка принимала?

— У меня.

— Да ведь я девчонку приняла, помню.

— Девчонку.

— И этот твой?

— Мой. Сиротинка несчастная.

— Разве не мужик тебе этот, рыжий?  
— Мужик. Сатано треклятый.  
— Как его звать-то, запомятовала. На Ларивона за-  
похаживает.

— На какого Ларивона?  
— Боровикова. Сына Филаретова.  
— Не слыхивала про Ларивона.  
— Да тебе-то сколь годов? Звать-то как?  
— Меланья. А годов мне за двадцать пятый три ме-  
сяца прошло.

— Богородица пресвятая, как мне было на Ишyme, когда пришел к нам человек светлый и разумный, в цепи закованный, Александра Михайлович! Вре-  
мя-то сколь минуло! Ноне-то двадцатый год исходит нового века, а с кандальником свиделась в тридцатом старого века. Время-то, время!.. Стара я, стара! Дожи-  
ву ли я до дня светлого, когда люди не будут терзать друг друга! Доколе же, скажи, совести каменной быть, а разуму гнатым!

Меланья не понимала, о чем толкует старуха в мо-  
нашеском черном одеянии и отчего она так присталь-  
но уставилась на нее?

— Не ведаю, про што говоришь, бабушка.

— Кем взростишь сына, скажи: мучителем иль спа-  
сителем? Если так вот будете терзать его, попомни  
мои слова, мучителя взростите. И будет он казнить  
правых и виноватых, как секли его до крови. Ишь как  
иссечен!

Меланья пожаловалась, что муж ее, Филимон Про-  
копьевич, невзлюбил ребенка и потому изводит его  
денно и ночью.

— Так и сбудется, — вздохнула бабка Ефимия. —  
Мучителя взростите.

— Духовником он будет. Клятьба такая на нем.

Ефимия вздрогнула и посмотрела на Меланью взыскивающе-строго:

— Каким духовником?

— Нашей веры, тополевой. Как от крещения тополевец.

— Ведаешь ли ты, что глаголешь? Матери ли говорить такие слова? Духовник у старообрядцев, как и поп в церкви, чтоб блуд покрывать блудом, невежество — невежеством, дикость — дикостью и чтоб люди до скончания века утопали во мшарине невежества! А ежели парнишка твой станет потом духовником, каким был Филарет?

— На святого Филарета молимся, как прародителя нашего.

— Нечисть-то! Нечисть! Еретичество! — рассердилась бабка Ефимия, подымаясь от тополя, где она сидела.

Демка чего-то испугался, отполз от старухи, подобрал свои штанишки с болтающейся ляжкой. Меланья кинулась к нему и подхватила на руки.

— погоди! погоди! сказать тебе надо, женщина, — остановила ее бабка Ефимия. имя Меланьи успела забыть — так резко рвались нитки в памяти. — погоди! Ты вот сказала, чтоб он, сын твой, стал духовником, каким был Филарет. А ведаешь ли ты, мать сына своего, каким был Филарет-мучитель? Да ежели он взрастет Филаретом — много крови прольется! Много будет несчастных, как ты вот сейчас! Знаешь ли ты, какую казнь учинил над моим телом и духом Филарет-мучитель? Как удавили под иконами сына мово, Веденейку кудрявого, Филаретовы апостолы? И крик был, и вопль был. Вопила я, видит небо, да не внял моим воплям ни Иисус Христос, ни отец, ни Дух Святой, ни сам Филарет Наумыч. Скажи же...

Меланья не стала слушать: Демка плакал от боли — на руках сидеть не мог.

— Чой-то вы пристали ко мне, бабка? Самой тошно. Голову не знаю где приклонить, а вы говорите всякое.

И ушла.

— Нету прозрения, вижу! Тьма пеленает людей, — сказала вслед Меланье бабка Ефимия.

...Все это время, после того как дом Ефимии в прошлом году сожгли белые, а люди метались в схватках друг с другом — красные с белыми, белые с красными, бабка Ефимия, покинутая всеми, нашла себе пристанище в старообрядческом женском скиту в Бурундате, куда Меланья отвезла хворую сироту Апроську. Но и в Бурундате у монашек не прижилась мятежная старуха — попраля старообрядческий устав, объявив его еретичным, и добиралась теперь до Минусинска в поисках своих дальних родственников. По пути в Минусинск заехала в Белую Елань, чтоб поклониться могиле Мокея Филаретыча — старому тополю, и тут застала зверство — избиение ребенка.

И подумалось Ефимии: не оттого ли в мир приходит жестокость, что люди, терзая друг друга, сами не зная того, порождают изгоев, а не праведников? В любви рожденный, без любви возвращенный — кем будет? Зверем.

Погостила бабка Ефимия у тополя, вороша свои древние мысли и столь же древние видения, и пошла по стороне Предивной в поисках приюта на ночь.

Боровиковых минула — чуждые люди...

## IV

Была ночь. И была тьма.

Черная осенняя тьма за окнами под тополем. И черная тьма на душе Меланьи.

Рабица Господня отстаивала всеношную молитву перед иконами, чтоб настало прозрение.

Молилась, молилась.

Мерцали у древних икон три свечечки.

Рядом с Меланьей лежал топор.

Филимон знал, зачем Меланья взяла топор и держала его под руками, а потому и удалился в горницу, где проживала квартирантка, Евдокия Елизаровна.

Квартирантка три дня как уехала в казачий Каратуз.

Филимон не знал, что в Каратузе, в Арбатах и в Таштыпе восстали казаки.

Уезд будоражился. Партизаны крестьянской армии Кравченко и Щетинкина ушли в Ачинск и Красноярск, а белые, улучив момент, подняли казаков...

Филимону намылила шею гражданка. Глаза бы не глядели ни на что в этом круговращенье.

Меланья молилась, чтоб святые угодники надоумили, как ей спасти возлюбленное чадо — сына Демида, чтоб не быть клятвopреступницей перед убиенным Прокопием Веденеевичем.

Молитва на измор тела — тяжкая, а голоса видений тихие и внятные, из уст в ухо будто.

Меланье послышался голос Прокопия:

«И сказано, исполни волю мою: быть Деомиду духовником. Пушай ярится мякинная утроба, а ты будь твердой, каменной и обретешь силу. Вези к праведницам в Бурундат Демида, куда отправила в храмов праздник сироту Апроську, и попроси игуменью Пестимию, чтоб обучили чадо читать Писание, службы

править и чтоб не опаскудился он среди нечистых, которых везде много. В обители будет ему спасение. Пущай не даст корову Филимон для Апроськи, а ты отрой мой клад и возьми с собой долю и отдай Пестимии — ребенчишка примут, и благодать будет».

— Слышу, слышу! — воскликнула Меланья. Детишки не проснулись от ее голоса. Демка спал на животе и во сне постанывал — на спину не мог перевернуться. — Слава Христе, слава Христе!

Утром Филимон собрался и уехал на пашню с двумя поселенцами — молотьба подоспела.

— Оставляю Карьку, — сказал Меланье вскользь, глядя куда-то в сторону. — К обеду чтоб привезла молотильщикам снеди, да не забудь, накопай в огороде картошки. Молитвами хлебушка не оммолотишь!

Меланья ничего не ответила. Но как только закрыла ворота за Филимоном, поглядела туда-сюда по ограде, взяла заступ и топор и пошла в баню.

Помолилась на закоптелую иконку.

Убрала пустую кадку, вывернула топором три половицы и стала копать. Как говорил покойник свекор, Прокопий Веденеевич, — наискосок под угол бани. Заступ ткнулся в камни. Убрала камни руками. Под камнями, обложенные шерстью со всех сторон, два берестяных туеса.

Достала один — замшелый, отсыревший, с налипшей шерстью. В бане было сумрачно, и она вынесла туес в предбанник. Выглянула — нет ли кого на заднем дворе и в ограде? Никого. Крышка туеса не поддавалась — разбухла и будто впаялась в бересту. Выбила ее топором. Оказывается, гвоздями была прибита по кромкам туеса. Сверху слой слежавшейся шерсти — для чего, не понимала. Под шерстью холщовый положек, а под ним пачки, пачки, пачки никола-